

Константин Паустовский

Повесть о жизни. Далекие годы

Несколько отрывочных мыслей Вместо предисловия

Обычно писатель знает себя лучше, чем критики и литературоведы. Вот почему я согласился на предложение издательства написать краткое предисловие к своему Собранию сочинений¹.

Но, с другой стороны, возможность говорить о себе у писателя ограничена. Он связан многими трудностями, в первую очередь — неловкость давать оценку собственным книгам.

Кроме того, ждать от автора объяснения собственных вещей — дело бесполезное. Чехов в таких случаях говорил: «Читайте мои книги, у меня же там все написано». Я с охотой могу повторить эти чеховские слова.

Поэтому я выскажу лишь некоторые соображения относительно своего творчества и

¹ Предисловие было написано К.Г. Паустовским к изданию: Паустовский К.Г. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1967–1970.

вкратце передам свою биографию. Подробно рассказывать ее нет смысла. Вся моя жизнь с раннего детства до начала тридцатых годов описана в шести книгах автобиографической «Повести о жизни», которая включена в это собрание. Работу над «Повестью о жизни» я продолжаю и сейчас.

Родился я в Москве 31 мая 1892 года в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика.

Отец мой происходит из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось, около Белой Церкви. Там жили мой дед — бывший николаевский солдат — и бабка-турчанка.

Несмотря на профессию статистика, требующую трезвого взгляда на вещи, отец был неисправимым мечтателем и протестантом. Из-за этих своих качеств он не засиживался подолгу на одном месте. После Москвы служил в Вильно, Пскове и, наконец, осел, более или менее прочно, в Киеве.

Моя мать — дочь служащего на сахарном заводе — была женщиной властной и суровой.

Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, спорили, благоговейно любили театр.

Учился я в 1-й киевской классической

гимназии.

Когда я был в шестом классе, семья наша распалась. С тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и учение. Перебивался я довольно тяжелым трудом — так называемым репетиторством.

В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале «Огни». Это было, насколько я помню, в 1911 году.

После окончания гимназии я два года пробыл в Киевском университете, а затем перевелся в Московский университет и переехал в Москву.

В начале мировой войны я работал вожатым и кондуктором на московском трамвае, потом — санитаром на тыловом и полевом санитарных поездах.

Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии.

В отряде из попавшегося мне обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день убиты на разных фронтах оба мои брата. Я вернулся к матери — она в то время жила в Москве, но долго высидеть на месте не смог и снова начал свою скитальческую жизнь: уехал в Екатеринослав и работал там на металлургическом заводе Брянского общества,

потом переехал в Юзовку на Новороссийский завод, а оттуда в Таганрог на котельный завод Нев-Вильдэ. Осенью 1916 года ушел с котельного завода в рыбачью артель на Азовском море.

В свободное время я начал писать в Таганроге свой первый роман — «Романтики».

Потом переехал в Москву, где меня застала Февральская революция, и начал работать журналистом.

Мое становление человека и писателя происходило при Советской власти и определило весь мой дальнейший жизненный путь.

В Москве я пережил Октябрьскую революцию, стал свидетелем многих событий 1917–1919 годов, несколько раз слышал Ленина и жил напряженной жизнью газетных редакций.

Но вскоре меня «завертело». Я уехал к матери (она снова переехала на Украину), пережил в Киеве несколько переворотов, из Киева уехал в Одессу. Там я впервые попал в среду молодых писателей — Ильфа, Бабеля, Багрицкого, Шенгели, Льва Славина.

Но мне не давала покоя «муза дальних странствий», и я, пробыв два года в Одессе, переехал в Сухум, потом — в Батум и Тифлис. Из Тифлиса я ездил в Армению и даже попал в Северную Персию.

В 1923 году вернулся в Москву, где несколько

лет проработал редактором РОСТА. В то время я уже начал печататься.

Первой моей «настоящей» книгой был сборник рассказов «Встречные корабли» (1928).

Летом 1932 года я начал работать над книгой «Кара-Бугаз». История написания «Кара-Бугаза» и некоторых других книг изложена довольно подробно в повести «Золотая роза». Поэтому здесь я на этом останавливаться не буду.

После выхода в свет «Кара-Бугаза» я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной, всепоглощающей, порой мучительной, но всегда любимой работой.

Ездил я по-прежнему много, даже больше, чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, жил в Мещёре, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, в Крыму, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе — в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском.

Во время Великой Отечественной войны я работал военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест. После окончания войны я опять много путешествовал. В течение 50-х и в начале 60-х годов я посетил

Чехословакию, жил в Болгарии в совершенно сказочных рыбацких городках Несебре (Мессемерия) и Созополе, объехал Польшу от Кракова до Гданьска, плавал вокруг Европы, побывал в Стамбуле, Афинах, Роттердаме, Стокгольме, в Италии (Рим, Турин, Милан, Неаполь, Итальянские Альпы), повидал Францию, в частности Прованс, Англию, где был в Оксфорде и шекспировском Страдфорде. В 1965 году из-за своей упорной астмы я довольно долго прожил на острове Капри — огромной скале, сплошь заросшей душистыми травами, смолистой средиземноморской сосной — пинией и водопадами (вернее, цветопадами) алой тропической бугенвиллии, — на Капри, погруженном в теплую и прозрачную воду Средиземного моря.

Впечатления от этих многочисленных поездок, от встреч с самыми разными и — в каждом отдельном случае — по-своему интересными людьми легли в основу многих моих рассказов и путевых очерков («Живописная Болгария», «Амфора», «Третья встреча», «Толпа на набережной», «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша» и др.), которые читатель тоже найдет в этом Собрании сочинений.

Написал я за свою жизнь немало, но меня не

покидает ощущение, что мне нужно сделать еще очень много и что глубоко постигать некоторые стороны и явления жизни и говорить о них писатель научается только в зрелом возрасте.

В юности я пережил увлечение экзотикой.

Желание необыкновенного преследовало меня с детства.

В скучной киевской квартире, где прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой собственного мальчишеского воображения.

Ветер этот приносил запах тисовых лесов, пену атлантического прибоя, раскаты тропической грозы, звон эоловой арфы.

Но пестрый мир экзотики существовал только в моей фантазии. Я никогда не видел ни темных тисовых лесов (за исключением нескольких тисовых деревьев в Никитском ботаническом саду), ни Атлантического океана, ни тропиков и ни разу не слышал эоловой арфы. Я даже не знал, как она выглядит. Гораздо позже из записок путешественника Миклухо-Маклая² я узнал об этом. Маклай построил из бамбуковых стволов

² *Миклухо-Маклай* Николай Николаевич (1846–1888) — русский этнограф, изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.

эолову арфу около своей хижины на Новой Гвинее. Ветер свирепо завывал в полых стволах бамбука, отпугивал суеверных туземцев, и они не мешали Маклаю работать.

Моей любимой наукой в гимназии была география. Она бесстрастно подтверждала, что на земле есть необыкновенные страны. Я знал, что тогдашняя наша скудная и неустроенная жизнь не даст мне возможности увидеть их. Моя мечта была явно несбыточна. Но от этого она не умирала.

Мое состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и — тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе.

С годами я ушел от экзотики, от ее нарядности, пряности, приподнятости и безразличия к простому и незаметному человеку. Но еще долго в моих повестях и рассказах попадались ее застрявшие невзначай золоченые нити.

Часто мы ошибочно соединяем в одно целое два разных понятия — то, что мы называем экзотикой, и то, что называем романтикой. Мы подменяем романтику чистой экзотикой, забывая о том, что эта последняя является лишь одной из внешних оболочек романтики и лишена самостоятельного содержания.

Сама по себе экзотика оторвана от жизни, тогда как романтика уходит в нее всеми корнями и питается всеми ее драгоценными соками. Я ушел от экзотики, но я не ушел от романтики и никогда от нее не уйду — от очистительного ее огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного ее непокоя.

Романтическая настроенность не позволяет человеку быть живым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от нее в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной трудовой жизни.

Разумеется, экзотику можно найти в «Романтиках», «Блистающих облаках» и во многих моих ранних романтических рассказах. Мне не казалось нужным переделывать эти вещи позднее. На них лежит печать своего времени, моего тогдашнего мироощущения. Поэтому они публикуются здесь в том виде, в каком появились на свет. Лишь кое-где пришлось исправить явные ошибки и стилистические погрешности.

Не без внутреннего сопротивления я порвал с чистой экзотикой и написал об этом рассказ под названием «Морская прививка».

В этом разрыве последним толчком было посещение Московского планетария. Его только

что открыли. Строитель планетария архитектор Синявский повел меня на первый показ искусственного звездного неба. Я был, как и все, захвачен этим зрелищем.

Мы вышли из планетария поздним вечером. Стоял сухой октябрь. На улицах пахло палым листом. И вдруг как бы впервые я увидел у себя над головой огромное, живое, кипящее звездами небо. Дым легких облаков пролетал в вышине, но не застилал звезд. Казалось, черный воздух осени усиливал пылание небесного свода.

И вот — почти все написанное мною до этого вечера представилось мне таким же искусственным, как небо планетария, — бетонный купол с фальшивыми созвездиями. Вначале оно поражало, но в нем не было глубины, воздуха, объема, слияния с мировым пространством.

После того вечера я уничтожил некоторые наиболее нарядные и искусственные свои рассказы.

Однако потом на протяжении своей дальнейшей жизни я убедился в банальной истине, что ничто — даже самая малость — не проходит для нас даром. Юношеская приверженность моя к экзотике в какой-то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем.

С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя

бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены. От этого мой внутренний мир становился богаче.

Это легкое вмешательство вымысла помогло мне в работе над «Кара-Бугазом», «Колхидой», «Черным морем» и другими повестями и рассказами.

С экзотикой было покончено. Ее сменило стремление к правде и простоте.

Но сравнительно недавно экзотика заставила меня еще раз задуматься над ее сущностью. Случилось это во время плавания вокруг Европы.

Наш теплоход отошел из Одессы и двое суток пересекал пасмурную от облачного неба синеватую пустыню Черного моря. Пенистый след ложился за кормой и как бы тянул на буксире стаю чаек с поджатými красными лапами.

Мгла лежала на горизонте. Только на подходе к Босфору она просветлела, и за ней проступили дикие, покрытые черными лесами Анатолийские горы.

Теплоход, круто разворачиваясь, вошел в Босфор.

Перед нами открылась картина, похожая на старинную пышную декорацию приморской страны. Кое-где на этой декорации облетела

позолота, кое-где ее подправили свежими красками. Вся эта путаница гор, древних башен, минаретов, скал, аркад, замков, маяков, оливковых роц, парусов, диких роз, вековых кипарисов, мачт и рей показалась мне в огне заката нарочитым и подчеркнуто праздничным зрелищем, придуманным неутомимым и веселым художником.

Десятки пестрых, как попугаи, фелюг — карминных, желтых, зеленых, белых, синих и черных с золотыми обводами по бортам — ши, пеня воду, навстречу нашему теплоходу.

Мы стали на якорь против игрушечного городка. Вечером в домах загорелись огни. Они светили неярко, пробиваясь сквозь зелень.

Я увидел с палубы узкую улицу, уходящую в горы. Ее во всю длину перекрывал глухой, почти черный навес из виноградных лоз, растянутых на жердях. Большие зрелые кисти винограда висели низко над улицей. Под ними шел ослик с фонариком на шее. Фонарик был электрический и светил очень сильно.

Этот городок был преддверием Стамбула. С террасы маленькой кофейни, висевшей над водой, доносилась тягучая музыка. Девушки-турчанки в светлых платьях, облокотившись о перила, смотрели на пролив. Их лица, различимые в бинокль, казались очень бледными. С берега пахло олеандрами. В меркнувшем небе слабо сиял

полумесяц — такой же, как на куполах бесчисленных маленьких мечетей.

Мне все это казалось каким-то нереальным и напомнило вымыслы юности. Но вместе с тем это была действительность.

Я наконец поверил, что передо мной легендарный Босфор, что это именно я стою на палубе и что рядом в сумраке тонут древнейшие области земли — Малая Азия, мифическая Троя, Геллеспонт.

Чем больше я воочию знакомился с тем, что недавно еще существовало только в моем воображении в виде экзотических картин, тем яснее становилось, что этот мир, перенесенный из области фантазии в область познания, гораздо интереснее, значительнее и, я бы сказал, сказочнее, чем были мои выдумки о нем.

С тех пор сознание этой реальности не покидало меня на всем пути — в лиловом Эгейском море, где тянулось по горизонту торжественное шествие розовых островов, в Акрополе, как бы построенном из старого воска, изъеденного пчелами, в Мессинском проливе с его ослепляющей голубизной воздуха, в Риме, где на простой и суровой гробнице Рафаэля в Пантеоне лежала высохшая гвоздика, в Атлантике, в кипучем Париже и в Ла-Манше, когда сквозь туман звонили навстречу кораблю старинные колокола на

плавучих бакенах, — всюду и везде...

Мне кажется, что одной из характерных черт моей прозы является ее романтическая настроенность.

Это, конечно, свойство характера. Требовать от любого человека, в частности от писателя, чтобы он отказался от этой настроенности, — нелепо. Такое требование можно объяснить только невежеством.

Романтическая настроенность не противоречит острому интересу к «грубой» жизни и любви к ней. Во всех областях действительности и человеческой деятельности, за редкими исключениями, заложены зерна романтики.

Их можно не заметить и растоптать или, наоборот, дать им возможность разрастись, украсить и облагородить своим цветением внутренний мир человека.

Романтичность свойственна всему, в частности науке и познанию. Чем больше знает человек, тем полнее он воспринимает действительность, тем теснее его окружает поэзия и тем он счастливее.

Наоборот, невежество делает человека равнодушным к миру, а равнодушие растет медленно, но необратимо, как раковая опухоль. Жизнь в сознании равнодушного быстро вянет, сереет, огромные пласты ее отмирают, и в конце

концов равнодушный человек остается наедине со своим невежеством и своим жалким благополучием.

Истинное счастье — это прежде всего удел знающих, удел ищущих и мечтателей. И меня очень радует то обстоятельство, что после некоторых споров, бурно протекавших в критике еще совсем недавно, романтика опять заняла свое законное место в жизни нашей литературы.

В этом введении к своим книгам я пытаюсь проследить свой собственный путь, сделать его более ясным (в частности, и для себя), определить те явления, какие привели к рождению той или иной моей книги.

Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и чистота этих побуждений находятся в прямом отношении или к признанию писателя со стороны народа, или к безразличию и даже прямому отрицанию всего им сделанного.

Желание все знать, видеть, путешествовать, быть участником разнообразных событий и столкновений человеческих страстей вылилось у меня в мечту о некой необыкновенной профессии. Она обязательно должна была быть связана с этой кипучей жизнью.

Но есть ли на свете такая профессия? Чем

больше я думал об этом, тем быстрее одна профессия отпадала вслед за другой. В них не было полной свободы. Они не охватывали жизнь целиком в ее стремительном развитии и разнообразии.

Одно время я всерьез думал стать моряком. Но вскоре мечта о писательстве вытеснила все остальные.

Писательство соединяло в себе все привлекательные профессии мира. Оно было независимым, мужественным и благородным делом.

Однако тогда я еще не знал, что писательство — это и труд, тяжкий и расточительный, что даже одна-единственная крупца правды, утаенная писателем от людей, — преступление перед собственной совестью, за которое он неизбежно ответит.

Страдания и радости всех людей становятся уделом писателя. Он должен обладать талантом собственного видения мира, непреклонностью в борьбе, лирической силой и общностью жизни с природой, не говоря уже о многих других качествах, хотя бы о простой психологической выносливости.

Решение пришло. Будущее стало ясным. Избранный путь оказался прекрасен, хотя и очень труден. И ни разу за долгие годы у меня не

возникло искушение изменить ему.

Моя писательская жизнь, как я уже говорил, началась с желания все знать и все видеть. И, очевидно, на этом она и окончится.

Поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг. Почти в каждой повести и каждом моем рассказе видны следы скитаний. Сначала был юг. С ним связаны «Романтики», «Блистающие облака», «Кара-Бугаз», «Колхида», «Черное море» и ряд рассказов, в том числе «Этикетки для колониальных товаров», «Потерянный день», «Парусный мастер», «Синева» и некоторые другие.

Первая моя поездка на север — в Ленинград, Карелию и на Кольский полуостров — просто ошеломила меня.

Я узнал пленительную власть севера. Первая же белая ночь над Невой дала мне больше для познания русской поэзии, чем десятки книг и многие часы размышлений над ними. Оказалось, что понятие «север» означает не только тихую прелесть природы, но почему-то еще и стихи «Подруга дней моих суровых...», написанные Пушкиным в глуши псковских лесов, грозные соборы Новгорода и Пскова, величавый и стройный Ленинград, Неву за окнами Эрмитажа, песни сказителей, спокойные глаза северянок, черную

хвою, слюдяной блеск озер, белую пену черемухи, запах коры, звон пил лесорубов, шелест страниц, перечитываемых ночью, когда заря уже проступает над Финским заливом и в памяти поют слова Блока:

...Руку

Одна заря закинула к другой.

И, сестры двух небес, прядут они —

То розовый, то голубой туман,

И в море утопающая туча

В предсмертном гневe мечет из очей

То красные, то синие огни.

Можно исписать много страниц этими неясными приметамн, создающнми явственный облик севера. Я был захвачен севером сильнее, чем югом.

Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыроватой ночи, когда каждая капля росы и отражение костра в луговом озерке вызывают такую внезапную, сокровенную, такую застенчивую и глубокую любовь к России, что от нее глухо колотится сердце. И хочется жить сотни лет, чтобы смотреть на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту.

Север вызвал к жизни такие книги, как «Судьба Шарля Лонсевиля», «Озерный фронт»,

«Северная повесть», и такие рассказы, как «Колотый сахар» и «Беглые встречи».

Но самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России. Произошло оно довольно поздно, когда мне было уже под тридцать лет. Конечно, и до этого я бывал в Средней России, но всегда мимоходом и наспех.

Так иногда бывает: увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на косогоре — и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть, даже во сне, но полюбил всем сердцем.

Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки.

С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля.

Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску —

на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу.

С этим кустом и с пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь.

Я снова здесь в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный...

Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещёрском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.

Средней России — и только ей — я обязан большинством написанных мною вещей. Перечисление их займет много места. Я упомяну только главные: «Мещёрская сторона», «Исаак Левитан», «Повесть о лесах», цикл рассказов «Летние дни», «Старый челн», «Ночь в октябре», «Телеграмма», «Дождливый рассвет», «Кордон 273», «Во глубине России», «Наедине с осенью», «Ильинский омут».

В Мещёрском краю я прикоснулся к чистейшим истокам народного русского языка. Не буду здесь говорить об этом, чтобы не повторяться. Свое отношение к русскому языку и мысли о нем я

высказал в книге «Золотая роза» (в главе «Алмазный язык»).

Возможно, читателям этой статьи покажется странным то обстоятельство, что автор останавливается главным образом на внешней среде, в которой происходит действие его произведений, но почти ничего не говорит о своих героях.

Я не могу дать своим героям беспристрастной оценки. Поэтому говорить мне о них трудно. Пусть оценку даст им читатель.

Я могу лишь сказать, что всегда жил со своими героями одной жизнью, всегда стремился открыть в них добрые черты, их сущность, их незаметное порой своеобразие. Не мне судить, удалось ли мне это.

Я всегда был с любимыми своими героями во всех обстоятельствах их жизни — в горе и счастье, в борьбе и тревогах, победах и неудачах. И с той же силой, с какой любил все подлинно человеческое в самом незаметном и незавидном герое, ненавидел людскую накипь, тупость и невежество.

Каждая моя книга — это собрание многих людей разных возрастов, национальностей, занятий, характеров и поступков. Поэтому меня несколько удивляет упрек некоторых критиков, что я бегло и неохотно пишу о людях. Очевидно, за беглость принимают сжатые характеристики людей.

Ну что ж, все это легко проверить. Для этого можно взять любую книгу и посмотреть, кого мы встретим на ее страницах.

Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей. Я пытался найти общие черты их характеров — те черты, что выдвинули их в ряды лучших представителей человечества.

Кроме отдельных книг о Левитане, Кипренском, Тарасе Шевченко, у меня есть главы романов и повестей, рассказы и очерки, посвященные Ленину, Горькому, Чайковскому, Чехову, лейтенанту Шмидту, Виктору Гюго, Блоку, Пушкину, Христиану Андерсену, Мопассану, Пришвину, Григу, Гайдару, Шарлю де Костеру, Флоберу, Багрицкому, Мультатули, Лермонтову, Моцарту, Гоголю, Эдгару По ³, Врубелю ⁴, Диккенсу, Грину и Малышкину.

Но все же чаще и охотнее всего я пишу о людях простых и безвестных — о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях —

³ *По* Эдгар Аллан (1809–1849) — американский поэт, писатель-романтик, критик.

⁴ *Врубель* Михаил Александрович (1856–1910) — русский живописец.

своих закадычных друзьях.

В своей работе я многим обязан поэтам, писателям, художникам и ученым разных времен и народов. Я не буду перечислять здесь их имена, от неизвестного автора «Слова о полку Игореве» и Микеланджело до Стендаля и Чехова. Имен этих очень много.

Но больше всего я обязан самой жизни, простой и значительной. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть.

Напоследок хочу повторить, что мое становление писателя и человека произошло при советском строе.

Моя страна, мой народ и создание им нового, подлинно социалистического общества — вот то высшее, чему я служил, служу и буду служить каждым написанным словом.

К. ПАУСТОВСКИЙ

Несколько слов

Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот

это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это — простой и неопровержимый закон.

В книге помещено шесть автобиографических повестей: «Далекie годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.

Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило — их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.

По существу, творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.

Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать — неизвестно.

Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.

Кроме подлинной своей биографии, где все

послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.

Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, — чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.

К. ПАУСТОВСКИЙ

Далекие годы

*Жизнь моя, иль ты
приснилась мне?*⁵

Сергей Есенин

Смерть отца

Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннобородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.

Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.

Феоктистов рассказал мне, что ночью прошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати

⁵ «...Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» — Из стихотворения С. Есенина без названия («Не жалею, не зову, не плачу...»).

верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина — гребля.

Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула — извозчик.

Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.

— Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика, — решил наконец Феоктистов. — Ему сам черт не брат.

Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы»⁶ в тисненых золотом переплетах, вошел извозчик Брегман — «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щечки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал

⁶ «Нива» — русский еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал, издававшийся в Петербурге в 1870–1918 гг.

Феоктистова.

— Ой, несчастье! — сказал он наконец фальцетом. — Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца, — я не побожусь, что пять или, положим, десять.

— Спасибо, Брегман, — сказал Феоктистов. — Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.

— Ну, уж если я такой храбрый, — пропищал, усмехаясь, Брегман, — так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид»⁷. Там я, по крайности, почитаю про кантонистов⁸ и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.

⁷ «Русский инвалид» — военная газета, издававшаяся в Петербурге в 1813–1917 гг.

⁸ *Кантонисты*. — В России в 1805–1865 гг. так назывались сыновья солдат, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.

Брегман ушел.

В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза — все равно кого, лишь бы согласился ехать».

Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.

Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.

Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. Тетушка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.

Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее

сыном.

Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.

Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святыне дары, нельзя разговаривать.

На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа.

В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красные бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.

Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не «но», а «вьё!». Дождь шумел в низких садах. Ксендз

держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.

В дыму дождя подымались, казалось — до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феоктистов, Версалью. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.

— Эти сады очень любил Мицкевич, — сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.

В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетавшие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах — Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.

Мы часто переезжали из города в город — из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.

Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетушка Дозя.

Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.

Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.

Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.

— Гребля! — сказал он упавшим голосом. — Теперь молитесь Богу, пассажиры!

Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.

Вода легко неслась, зажатая гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила холодной пылью.

За рекой, по ту сторону гребли, как бы взлетали к небу огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где

жил в раннем детстве, — ее левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега. Они разрезали речную воду на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.

Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж и покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.

— Езус-Мария! — сказал он тихим голосом. — Как же мы переедем?

— Э-э! — ответил Брегман. — Откуда я знаю как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся.

Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она ревела и сбивала легкую коляску к неогороженному краю гребли. Коляска шла боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбивала их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.

Посередине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Пенистые водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятнулись и сдвинули коляску к самому краю гребли.

Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на

серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой тонкого каната.

Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней — двое гнедых и серый — выволокли наконец коляску на остров.

Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнул дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого балагулу, как старый Брегман, а я спросил, как отец.

— Еще жив, — ответил Илько и поцеловал меня, исцарапав бородой. — Ждет. А где мама — Мария Григорьевна?

— Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, приедет завтра.

Дядя Илько посмотрел на реку.

— Прибывает, — сказал он. — Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!

На крыльце нас встретила тетушка Дозя, вся в черном, с сухими, заплаканными глазами.

В душных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными

глазами.

Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел не отрываясь на меня, и по сухой его щеке сползла слеза. Она застряла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.

Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани. Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась. Брегман с ксендзом не смогли переправиться обратно и застряли на острове.

Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шепотом:

— Боюсь... погубит тебя... бесхарактерность.

— Нет, — тихо возразил я. — Этого не будет.

— Маму увидишь, — прошептал отец. — Я виноват перед ней... Пусть простит...

Он замолчал и слабо стиснул мою руку.

Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был, по существу, совсем не статистиком, а поэтом.

На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.

На острове у нас жил старый дед Нечипор. Его позвали читать над отцом Псалтырь.

Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шепотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение: о бутылке вина, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он видел под Плевной самого Скобелева⁹ так близко, «як до того плетня», и об удивительной американской веялке, работающей от громоотвода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» — враль и болтун.

Он читал Псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал невнятные молитвы.

Ночью на другом берегу реки кто-то начал махать фонарем и протяжно кричать. Я вышел с дядей Илько на берег. Река ревела. Вода шла через греблю холодным водопадом. Ночь стояла поздняя, глухая, ни единой звезды не было над головой. В лицо дуло дикой свежестью разлива, оттаявшей земли. И все время кто-то махал на том берегу фонарем и кричал, но слов за шумом реки нельзя было разобрать.

⁹ Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — русский генерал от инфантерии. Участвовал в завоевании Средней Азии, в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

— Должно быть, мама, — сказал я дяде Илько.

Но он мне ничего не ответил.

— Пойдем, — сказал он, помолчав. — Холодно на берегу. Простудишься.

Я не захотел идти в дом. Дядя Илько помолчал еще немного и ушел, а я стоял и смотрел на далекий фонарь. Ветер дул все сильнее, качал тополя, нес откуда-то сладковатый дым соломы.

Утром отца хоронили. Нечипор и дядя Илько выкопали могилу в роще на краю оврага. Оттуда были далеко видны леса за Росью и белесое мартовское небо.

Гроб вынесли из дома на широких вышитых рушниках. Впереди шел ксендз. Он смотрел серыми спокойными глазами прямо перед собой и говорил вполголоса латинские молитвы.

Когда гроб вынесли на крыльцо, я увидел на том берегу реки старую коляску, распряженных и привязанных к ней лошадей и маленькую женщину в черном — маму. Она стояла неподвижно на берегу. Она видела оттуда, как выносили отца. Потом она опустилась на колени и упала головой на песок.

К ней подошел высокий, тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно.

Потом она вскочила и побежала вдоль берега

к гребле. Извозчик схватил ее. Она бессильно опустилась на землю и закрыла лицо руками.

Отца несли по дороге в рощу. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же, закрыв лицо руками.

Все молчали. Только Брегман похлопывал кнутовищем по сапогу.

Около могилы ксендз поднял серые глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни:

— *Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis!*

«Вечный покой и вечный свет даруй им, Господи!»

Ксендз замолчал, прислушался. Шумела река, и над головой в ветвях старых вязов пересвистывались синицы. Ксендз вздохнул и снова заговорил о вечной тоске по счастью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце. Потом я часто испытывал это стеснение сердца, сталкиваясь с жаждой счастья и с несовершенством человеческих отношений.

Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу.

Мне было тогда семнадцать лет.

Дедушка мой Максим Григорьевич

После похорон отца я прожил еще несколько дней в Городище.

Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через плотину.

Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле.

Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами.

Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана — каморы — сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном.

В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту — «универсал», медную печать с гербом, георгиевскую медаль за турецкую войну, «Сонник», несколько обкуренных трубок и черные кружева тончайшей работы.

«Универсал» и печать остались у нас в семье от гетмана Сагайдачного¹⁰, нашего отдаленного

¹⁰ *Сагайдачный* Петр Кононович (?—1622) — гетман украинских казаков, участник и руководитель походов против

предка. Отец посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и считались потомками запорожских казаков.

Когда Запорожская Сечь¹¹ при Екатерине Второй была разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось, около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах «на Туретчину», об Уманской резне и чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох — будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом — ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова

Крымского ханства и Турции, сторонник сближения с Россией.

¹¹ *Запорожская Сечь* — организация украинских казаков в XVI–XVIII вв. за Днепровскими порогами. Ликвидирована в 1775 г. после подавления крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева.

сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови.

С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Браницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях — думках. Их пел нам, своим внучатам, дед мой Максим Григорьевич.

Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за левадой — отсиживался там от гневного характера моей бабки-турчанки.

В давние времена дед был чумаком. Он ходил на волах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями «Катеринославщины» и Херсонщины лежит райская крымская земля.

До того как дед стал чумаком, он служил в николаевской армии, был на турецкой войне, попал в плен и привез из плена, из города Казанлыка во Фракии, жену — красавицу турчанку. Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя — Гонората.

Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем дед, и старались не попадаться ей на глаза.

Дед, сидя около шалаша, среди желтых цветов тыквы, напевал дребезжащим тенорком казачьи думки и чумацкие песни или рассказывал всяческие истории.

Я любил чумацкие песни за их заунывность. Такие песни можно было петь часами под скрип колес, валяясь на возу и глядя в небо. Казацкие же песни всегда вызывали непонятную грусть. Они казались мне то плачем невольников, закованных в турецкие цепи — кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт.

Чего только не пел дед! Чаще всего он пел любимую нашу песню:

Засвистали козаченьки
В поход с полуночи.
Заплакала Марусенька
Свои ясны очи.

А из дедовских рассказов нам больше всего нравилась история лирника Остапа.

Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру. Сейчас, должно быть, ее можно найти только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких городках, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники.

Они шли, держась за плечо босоногого маленького поводыря в посконной рубахе. В холщовой торбе у них за спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала скрипку, но к ней были приделаны рукоятка и деревянный стержень с колесиком.

Лирник вертел рукоятку, колесико кружилось, терлось о струны, и они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему, добрые ручные шмели.

Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, «псалмы» и песни. Потом замолкали, долго слушали, как жужжит-затихает лира, и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню.

Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного лирника в городе Черкассах. «Киньте грошик, — говорил он, — слепцу и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей кончины в божий рай».

Я не помню ни одного базара, где бы не было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополю. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медяки.

Представление о лирниках навсегда связалось

у меня с памятью об украинских базарах — ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог и синеватый дым струится над землей, уже освещенной солнцем.

Запотевшие кувшины — глечики — с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед в макитрах, горячие ватрушки с изюмом, решетка с вишнями, запах тарани, ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки баб-«покотух», кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла — его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. Все «дядьки» считали своей обязанностью постучать по котлу кнутовищем, попробовать, хороша ли румынская медь.

Историю лирника Остапа я знал почти наизусть.

— Случилось то в селе Замошье, под городом Васильковом, — рассказывал дед. — Остап был в том селе ковалем. Кузня его стояла на выезде под черными-пречерными вербами по-над самой рекой. Не знал Остап неудачи — ковал коней, гвозди, ковал оси для чумацких возов.

Как-то к летнему вечеру раздувал Остап угли в кузне, а на дворе прошла в тот час гроза, раскидала по лужам листья, повалила трухлявую вербу. Раздувал Остап угли и вдруг слышит —

топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни. И чей-то голос — женский, молодой — зовет коваля.

Вышел Остап и замер: у самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты, в длинном бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки. И зубы смеются. А бархат на платье мягкий, синий, и блискавятся на нем капли — падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне — молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полк улан.

«Коваль, голубчик, — говорит женщина, — подкуй мне коня, потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы».

Женщина сошла с седла, села на колоду, а Остап начал ковать коня. Кует и все поглядывает на женщину, а она вдруг сделалась такая смутная, откинула вуаль и тоже смотрит на Остапа.

«Не встречал я вас до сей поры, — говорит ей Остап. — Не из наших вы, мабудь, мест?»

«Я из Петербурга, — отвечает женщина. — Очень хорошо ты куешь».

«Что подковы! — говорит ей тихо Остап. — Пустое дело! Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете».

«Какую же это вещь?» — спрашивает

женщина.

«Что хотите. Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами».

«Хорошо! — так же тихо отвечает женщина. — Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду».

Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться, и Остап не удержался — жарко прильнул к той руке. Но не успела она отдернуть руку, как офицер ударил Остапа наотмашь хлыстом поперек лица и крикнул: «Знай свое место, мужик!»

Кони взвились, поскакали. Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера. Но не сдужил. Ничего не видит кругом, кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз.

Однако перемогся Остап, шесть дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле.

А на седьмой день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к пряслу.

Остап боялся выйти, показать свое лицо, — закрыл руками глаза и ждал.

И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его, и падает ему на плечо одна-единственная ее слеза.

«Знаю, все знаю, — говорит женщина. — Сердце у меня изболелось за эти дни. Прости, Остап. Из-за меня случилась твоя великая беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург».

«Зачем?» — спрашивает Остап тихо.

«Милый мой, сердце мое, — говорит женщина, — все равно не дадут нам люди счастья».

«Ваша воля, — отвечает Остап. — Я простой человек, коваль. Мне о вас думать — и то радость».

Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала шагом. А Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза останавливала женщина коня. Два раза хотела вернуться. Но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик!

В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться. Потом я спрашивал шепотом:

— Так они и не виделись больше?

— Нет, — отвечал дед. — Это верно, не виделись. Остап начал слепнуть. Надумал он дойти тогда до Петербурга, чтобы увидеть ту женщину, пока он еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что она умерла, — мабудь, не выдержала разлуки. Нашел Остап на кладбище ее могилу из белого мрамора-камня, глянул, и сердце у него сорвалось — на камне лежала его железная

роза. Завещала та женщина положить розу на ее могилу. Навеки. А Остап начал лирничать и, мабудь, так и помер на шляху или на базаре под возом. Аминь!

Косматый пес Рябчик с репьями на морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок, но Рябчик ничуть не обижался и лез ко мне ласкаться, высунув горячий язык.

В пасти у Рябчика торчали обломки зубов. Прошлой осенью, когда мы уезжали из Городища, он вцепился в колесо — хотел остановить коляску — и поломал зубы.

Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека, — как говаривал дед, — другая пропорция».

Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой. Вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности.

Бабка была деспотична, придирчива. Она выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего

черного табака. Курила она его в коротких раскаленных трубках. Она ведала хозяйством. Ее черный глаз замечал малейший непорядок в доме.

По праздникам она надевала атласное платье, отороченное черными кружевами, выходила из дому, садилась на завалинку, дымила трубкой и смотрела на быструю реку Рось. Изредка она громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить ее, чему она смеется.

Единственной вещью, которая немного примиряла нас с бабушкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у нее в комод. Она изредка вынимала его и с гордостью давала нам нюхать. Брусок издавал тончайший запах роз.

Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка — родного города бабушки — называется Долиной роз, что там добывают розовое масло и чудесный брусок — это какой-то состав, пропитанный этим маслом.

Долина роз! Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабушки.

Караси

Сейчас, задержавшись в Городище после смерти отца, я вспомнил раннее свое детство, то время, когда мы, веселые и счастливые, приезжали сюда на лето из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды и еще не умерли дед и турчанка-бабка. Тогда и я был еще совсем маленьким мальчиком и выдумывал всякие небылицы.

Поезд из Киева приходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков.

В Городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак. Фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами. Из сырой темноты тянуло бурьяном.

Тетушка Дося вносила меня, сонного, в теплую хату, устланную разноцветными половиками. В хате пахло топленным молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки Дози.

Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и желтые мальвы-монашки покачивались за открытым окном. Вместе с ними заглядывал в комнату цветов

настурции; в нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, следил, как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны — отражения реки. Река шумела тут же, рядом.

Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то:

— Ну конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия! Дося, ставь на стол вишневку и пироги!

Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел процессию: с того берега по гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах — брылях. Медали брэнчали и поблескивали на их коричневых свитках.

Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим с медной бляхой на шее.

В хате начиналась суэта. Тетушка Дося взмахивала над столом скатертью. Ветер проносился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, резала колбасу. Отец откупоривал бутылки с домашней вишневкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики.

Потом тетушка Дося и мама убежали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на

крыльцо, навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба.

Старики наконец подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлявшись, произносил свою знаменитую фразу:

— Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас, в нашу тихую местность.

— Спасибо! — говорил отец.

— Да-а! — отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали. — Оно так, конечно...

— Да-а! — повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки.

— Вот оно, значит, так слагается, — произносил старый николаевский солдат с бугристым носом.

— Понятное дело! — вступал в разговор маленький и очень любопытный старик Недоля, отец двенадцати дочерей.

От старости он позабыл их имена и мог насчитать по пальцам не больше пяти: Ганна, Парася, Горпына, Олеся, Фрося... Потом старик сбивался и начинал счет сначала.

— Так! — говорили старики и надолго замолкали. В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали, низко

кланялись ему. Дедушка кланялся им в ответ, и старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, кричали, молчали и смотрели в землю. Наконец по каким-то неуловимым признакам дядя Илько догадывался, что в хате все готово для угощения, и говорил:

— Ну, спасибо вам за разговор, добрые люди. Пожалуйте теперь откусать чем Бог послал.

В хате стариков встречала мама в летнем нарядном платье. Старики целовали ей руку, а она в ответ целовала их коричневые руки — таков был обычай. Тетушка Дозя в синем платье и в шали с пунцовыми розами, румяная, красивая, рано поседевшая, кланялась старикам в пояс.

После первого стаканчика липкой вишневки Недоля, мучимый любопытством, приступал к расспросам. Все вещи, привезенные нами из Киева, вызывали его недоумение, и он, показывая на них, спрашивал:

— Що воно, для чого воно и яка в нем словесность?

Отец объяснял ему, что вот это — духовой утюг, а это — мороженица, а там на комодке — складное зеркало.

Недоля с восхищением крутил головой.

— На всячину свое средство!

— Оно так, конечно! — соглашались старики, выпивая.

Лето в Городище вступало в свои права, — жаркое лето с его страшными грозами, шумом деревьев, прохладными струями речной воды, рыбной ловлей, зарослями ежевики, с его сладостным ощущением беззаботных и разнообразных дней.

Остров, на котором стояла дедовская хата, был, конечно, самым таинственным местом на свете.

За домом лежали два огромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от старых ив и темной воды.

За прудами, вверх по склону, подымалась роща с непролазным орешником. За рощей начинались поляны, заросшие по пояс цветами и такие душистые, что от них в знойный день разбалчивалась голова.

За полянами на пасеке курился слабый дымок около дедовского шалаша. А за дедовским шалашом шли неизведанные земли — красные гранитные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой.

В углублениях этих скал стояли маленькие озера дождевой воды. Трясогузки, подрагивая пестрыми хвостами, пили теплую воду из этих озер. Неуклюжие и нахальные шмели, свалившись с размаху в озера, кружились и гудели, тщетно зывая о помощи.

Скалы обрывались отвесной стеной в реку Рось. Туда нам запретили ходить. Но мы изредка подползали к краю скал и смотрели вниз. Тугим прозрачным потоком, кружа голову, неслась внизу Рось. Под водой, навстречу течению, медленно шли, вздрагивая, узкие рыбы.

На том берегу подымался по скату заповедный лес графини Браницкой. Солнце не могло прорваться сквозь мощную зелень этого леса. Лишь изредка одинокий луч прорезал наискось чашу и открывал перед нами потрясающую силу растительности. Как сверкающие пылинки, влетали в этот луч маленькие птицы. Они с писком гонялись друг за другом и ныряли в листву, будто в зеленую воду.

Но самым любимым моим местом были пруды.

Каждое утро отец ходил туда удить рыбу. Он брал меня с собой.

Мы выходили из дому очень рано и осторожно шагали по тяжелой мокрой траве. Тихими золотеющими пятнами светились среди темной, еще ночной листвы ветки ив, озаренные первым солнцем. В глухой воде плескались караси. Заросли кувшинок, рдеста, стрелолиста и водяной гречихи висели, казалось, над черной бездной.

Таинственный мир воды и растений раскрывался передо мной. Очарование этого мира

было так велико, что я мог просиживать на берегу пруда с восхода до захода солнца.

Отец бесшумно закидывал удочки и закуривал. Табачный дым плыл над водой и запутывался среди прибрежных веток.

Я набирал в ведро воды из пруда, бросал в эту воду траву и ждал. Красные поплавки неподвижно стояли в воде. Потом один из них начинал вздрагивать, пускал легкие круги, внезапно нырял или быстро плыл в сторону. Отец подсекал, леска натягивалась, ореховое удилище сгибалось в дугу, и в тумане над прудом начиналось бульканье, плеск, возня. Вода разбегалась, качая кувшинки, торопливо удирали во все стороны жуки-водомеры, и наконец в загадочной глубине появлялся бьющийся золотой блеск. Нельзя было разобрать, что это такое, пока отец не выволакивал на примятую траву тяжелого карася. Он лежал на боку, отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шел удивительный запах подводного царства.

Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, и мне очень хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого.

Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной,

как вода грозových дождей. Мы, мальчишки, жадно пили ее и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор.

Плеврит

Грозы в Городище бывали часто. Они начинались на Ивана Купала и длились весь июль, обкладывали остров разноцветными громадами туч, блистали и гремели, сотрясая наш дом, и пугали до обморока тетушку Дозю.

С этими грозами связано воспоминание о моей первой детской любви. Мне было тогда девять лет.

В день Ивана Купала девушки из Пилипчи приходили нарядной стайкой к нам на остров, чтобы пускать по реке венки. Они плели венки из полевых цветов. Внутри каждого венка они вставляли крестовину из щепочек и прилепляли к ней восковой огарок. В сумерки девушки зажигали огарки и пускали венки по реке.

Девушки гадали — чья свеча заплывет дальше, та девушка будет счастливее всех. Но самыми счастливыми считались те, чей венок попадал в водоворот и медленно кружился над омутом. Омут был под крутояром. Там всегда стояло затишье, свечи горели на таких венках очень

ярко, и даже с берега было слышно, как трещат их фитили.

И взрослые, и мы, дети, очень любили эти венки на Ивана Купала. Один Нечипор пренебрежительно кричал и говорил:

— Глупство! Нема в тех венках ниякой рации!

С девушками приходила Ганна, моя троюродная сестра. Ей было шестнадцать лет. В рыжеватые пышные косы она вплетала оранжевые и черные ленты. На шее у нее висело тусклое коралловое монисто. Глаза у Ганны были зеленоватые, блестящие. Каждый раз, когда Ганна улыбалась, она опускала глаза и подымала их уже не скоро, будто ей было тяжело их поднять. Со щек ее не сходил горячий румянец.

Я слышал, как мама и тетушка Дозя жалели Ганну за что-то. Мне хотелось узнать, что они говорят, но они всегда замолкали, как только я подходил.

На Ивана Купала меня отпустили с Ганной на реку к девушкам. По дороге Ганна спросила:

— Кем же ты будешь, Костик, когда вырастешь большой?

— Моряком, — ответил я.

— Не надо, — сказала Ганна. — Моряки тонут в пучине. Кто-нибудь да проплачет по тебе ясные свои очи.

Я не обратил внимания на слова Ганны. Я

держал ее за горячую смуглую руку и рассказывал о своей первой поездке к морю.

Ранней весной отец ездил на три дня в командировку в Новороссийск и взял меня с собой. Море появилось вдаль, как синяя стена. Я долго не мог понять, что это такое. Потом я увидел зеленую бухту, маяк, услышал шум волн у мола, и море вошло в меня, как входит в память великолепный, но не очень ясный сон.

На рейде стояли черные броненосцы с желтыми трубами — «Двенадцать апостолов» и «Три святителя». Мы ездили с отцом на эти корабли. Меня поразили загорелые офицеры в белых кителях с золотыми кортиками, маслянистое тепло машинных отделений. Но больше всего удивил меня отец. Я таким никогда его не видел. Он смеялся, шутил, оживленно говорил с офицерами. Мы даже зашли в каюту к одному корабельному механику. Отец пил с ним коньяк и курил турецкие папиросы из розовой бумаги с золотыми арабскими буквами.

Ганна слушала, опустив глаза. Мне стало почему-то жаль ее, и я сказал, что когда сделаюсь моряком, то непременно возьму ее к себе на корабль.

— Кем же ты меня возьмешь? — спросила Ганна. — Стряпкой? Или прачкой?

— Нет! — ответил я, загорясь мальчишеским

воодушевлением. — Ты будешь моей женой.

Ганна остановилась и строго посмотрела мне в глаза.

— Побожись! — прошептала она. —
Поклянись сердцем матери!

— Клянусь! — ответил я, не задумываясь.

Ганна улыбнулась, зрачки ее сделались зелеными, как морская вода, и она крепко поцеловала меня в глаза. Я почувствовал жар ее рдеющих губ. Всю остальную дорогу до реки мы молчали.

Свеча Ганны погасла первой. Из-за леса графини Браницкой подымалась дымная туча. Но мы, увлеченные венками, ее не заметили, пока не ударил ветер, не засвистели, нагибаясь к земле, ракиты и не хлестнула, взорвавшись ослепительным громом, первая молния.

Девушки с визгом бросились под деревья. Ганна сорвала с плеч платок, обвязала им меня, схватила за руку, и мы побежали.

Она тащила меня, ливень настигал нас, и я знал, что до дому мы добежать все равно не успеем.

Ливень догнал нас невдалеке от дедовского шалаша. До шалаша мы добежали промокшие насквозь. Деда на пасеке не было.

Мы сидели в шалаше, прижавшись друг к другу. Ганна растирала мои руки. От нее пахло мокрым ситцем. Она все время испуганно

спрашивала:

— Тебе холодно? Ой, заболеешь ты, что я тогда буду делать?

Я дрожал. Мне было действительно очень холодно. В глазах Ганны сменялись страх, отчаяние, любовь.

Потом она схватилась за горло и закашлялась. Я видел, как билась жилка на ее нежной и чистой шее. Я обнял Ганну и прижался головой к ее мокрому плечу. Мне захотелось, чтобы у меня была такая молодая и добрая мама.

— Что ты? — растерянно спрашивала Ганна, не переставая кашлять, и гладила меня по голове. — Что ты? Ты не бойся... Нас громом не убьет. Я же с тобой. Не бойся.

Потом она слегка оттолкнула меня, прижала ко рту рукав рубахи, вышитой красными дубовыми листьями, и рядом с ними по полотну расплзлось маленькое кровавое пятно, похожее на вышитый дубовый листок.

— Не надо мне твоей клятвы! — прошептала Ганна, виновато взглянула на меня исподлобья и усмехнулась. — Это я пошутила.

Гром гремел уже за краем огромной земли. Ливень прошел. Только шумели по деревьям частые капли.

Ночью у меня начался жар. Через день приехал из Белой Церкви на велосипеде молодой

доктор Напельбаум осмотрел меня и нашел, что у меня плеврит.

От нас Напельбаум ходил в Пилипчу к Ганне, вернулся и сказал в соседней комнате моей матери тихим голосом:

— У нее, Мария Григорьевна, скоротечная чахотка. Она не доживет до весны.

Я заплакал, позвал маму, обнял ее и заметил, что у мамы на шее бьется такая же нежная жилка, как и у Ганны. Тогда я заплакал сильнее и долго не мог остановиться, а мама гладила меня по голове и говорила:

— Что ты? Я же с тобой. Не бойся.

Я выздоровел, а Ганна умерла зимой, в феврале. На следующее лето я пошел с мамой на ее могилу и положил на зеленый маленький холмик цветы ромашки, перевязанные черной лентой. Такие цветы Ганна вплетала в свои косы. И мне было почему-то неловко, что рядом со мной стоит мама с красным зонтиком от солнца и что я пришел к Ганне не один.

Поездка в Ченстохов

В Черкассах, на Днепре, жила другая моя бабушка — Викентия Ивановна, высокая старуха, полька.

У нее было много дочерей, моих тетушек.

Одна из этих тетушек, Евфросиния Григорьевна, была начальницей женской гимназии в Черкассах. Бабушка жила у этой тетушки в большом деревянном доме.

Викентия Ивановна всегда ходила в трауре и черной наколке. Впервые она надела траур после разгрома польского восстания в 1863 году¹² и с тех пор ни разу его не снимала.

Мы были уверены, что во время восстания у бабушки убили жениха — какого-нибудь гордого польского мятежника, совсем не похожего на угрюмого бабушкиного мужа, а моего деда — бывшего нотариуса в городе Черкассах.

Деда я помню плохо. Он жил в маленьком мезонине и редко оттуда спускался. Бабушка поселила его отдельно от всех из-за невыносимой страсти деда к курению.

Изредка мы пробирались к нему в комнату, горькую и мутную от дыма. На столе горами лежал табак, высыпанный из коробок. Дед, сидя в кресле, набивал трясущимися жилистыми руками папиросу за папиросой.

С нами он не разговаривал, только взъерошивал тяжелой рукой волосы у нас на

¹² ...после разгрома польского восстания в 1863 году. — Имеется в виду январское восстание 1863 г. против царизма в Королевстве Польском, Литве, части Белоруссии и Украины.

затылке и дарил лиловую глянецовую бумагу из табачных коробок.

Мы часто приезжали из Киева погостить к Викентии Ивановне. У нее существовал твердый порядок. Каждую весну Великим постом она ездила на богомолье по католическим святым местам в Варшаву, Вильно или Ченстохов.

Но иногда ей приходило в голову посетить православные святыни, и она уезжала в Троице-Сергиевскую лавру¹³ или в Почаев¹⁴.

Все ее дочери и сыновья посмеивались над этим и говорили, что если так пойдет дальше, то Викентия Ивановна начнет навещать знаменитых еврейских цадииков¹⁵ и закончит свои дни паломничеством в Мекку к гробу Магомета.

Самое крупное столкновение между бабушкой и отцом произошло, когда бабушка

¹³ *Троице-Сергиевская* (Троице-Сергиева) *лавра* — древнерусский монастырь, основан в середине XIV в. (с 1744 г. Лавра — крупный мужской православный монастырь, подчинявшийся непосредственно Синоду), в 71 км к северу от Москвы.

¹⁴ *Почаев*. — Имеется в виду Почаевско-Успенская лавра, мужской монастырь в г. Почаеве на Украине.

¹⁵ *Цадик* — духовное звание у евреев-хасидов.

воспользовалась тем, что отец уехал в Вену на конгресс статистиков, и взяла меня с собой в одно из религиозных путешествий. Я был счастлив этим и не понимал негодования отца. Мне было тогда восемь лет.

Я помню прозрачную виленскую весну и каплицу Острая Брама¹⁶, куда бабушка ходила к причастию.

Весь город был в зеленоватом и золотистом блеске первых листьев. В полдень на Замковой горе стреляла пушка времен Наполеона.

Бабушка была очень начитанная женщина. Она без конца мне все объясняла.

Религиозность удивительно уживалась в ней с передовыми идеями. Она увлекалась Герценом и одновременно Генрихом Сенкевичем¹⁷. Портреты Пушкина и Мицкевича всегда висели в ее комнате рядом с иконой Ченстоховской Божьей Матери. В революцию 1905 года она прятала у себя революционеров-студентов и евреев во время погромов.

Из Вильно мы поехали в Варшаву. Я

¹⁶ *Каплица Острая Брама* — часовня в Вильнюсе над воротами с иконой Остробрамской богородицы.

¹⁷ *Сенкевич* Генрих (Генрик; 1846–1916) — польский писатель, автор исторических романов.

запомнил только памятник Копернику¹⁸ и кавярни, где бабушка угощала меня «пшевруцоной кавой» — «перевернутым кофе»: в нем было больше молока, чем кофе. Она угощала меня пирожными — меренгами, таявшими во рту с маслянистой холодной сладостью. Нам подавали вертлявые девушки в гофрированных передниках.

Из Варшавы мы поехали с бабушкой в Ченстохов, в знаменитый католический монастырь Ясна Гура, где хранилась «чудотворная» икона Божьей Матери.

Впервые я тогда столкнулся с религиозным фанатизмом. Он потряс меня и напугал. С тех пор страх перед фанатизмом и отвращение к нему вошли в мое сознание. Я долго не мог избавиться от этого страха.

Поезд пришел в Ченстохов рано утром. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было далеко.

Из вагона вышли богомольцы — польские крестьяне и крестьянки. Среди них были и городские обыватели в пыльных котелках. Старый, тучный ксендз и мальчишки-причетники в кружевных одеяниях ждали богомольцев на вокзале.

¹⁸ *Коперник* Николай (1473–1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира.

Тут же, около вокзала, процессия богомольцев выстроилась на пыльной дороге. Ксендз благословил ее и пробормотал в нос молитву. Толпа рухнула на колени и поползла к монастырю, распевая псалмы.

Толпа ползла на коленях до самого монастырского собора. Впереди ползла седая женщина с белым иступленным лицом. Она держала в руках черное деревянное распятие.

Ксендз медленно и равнодушно шел впереди этой толпы. Было жарко, пыльно, пот катился по лицам. Люди хрипло дышали, гневно оглядываясь на отстающих.

Я схватил бабушку за руку.

— Зачем это? — спросил я шепотом.

— Не бойся, — ответила бабушка по-польски. — Они грешники. Они хотят вымолить прощение у пана Бога.

— Уедем отсюда, — сказал я бабушке.

Но она сделала вид, что не расслышала моих слов.

Ченстоховский монастырь оказался средневековым замком. В стенах его торчали ржавые шведские ядра. В крепостных рвах гнила зеленая вода. На валах шумели густые деревья.

Подъемные мосты на железных цепях были опущены. Мы въехали в извозничьем экипаже по такому мосту в путаницу монастырских дворов,

переходов, закоулков и аркад.

Служка-монах, подпоясанный веревкой, провел нас в монастырскую гостиницу. Нам отвели холодную сводчатую комнату. Неизменное распятие висело на стене. На пробитые гвоздями латунные ноги Христа кто-то повесил венок из бумажных цветов.

Монах спросил бабушку, не страдает ли она болезнями, требующими исцеления. Бабушка была очень мнительная и тотчас пожаловалась на боли в сердце. Монах достал из кармана коричневой рясы горсть маленьких, сделанных из серебра сердец, рук, голов и даже игрушечных младенцев и высыпал их горкой на стол.

— Есть сердца, — сказал он, — на пять рублей, на десять и на двадцать. Они уже освященные. Остается только повесить их с молитвой на икону Божьей Матери.

Бабушка купила маленькое пухлое сердце за десять рублей.

Бабушка сказала, что ночью мы пойдем в костел на торжественную службу, напоила меня чаем с варшавскими черствыми булочками и прилегла отдохнуть. Она уснула. Я смотрел в низкое окно. Прошел монах в блестящей выгоревшей рясе. Потом два польских крестьянина сели в тени у стены, достали из узелков серый хлеб и чеснок и начали есть. У них были синие глаза и крепкие зубы.

Мне стало скучно, и я осторожно вышел на улицу. Бабушка велела, чтобы в монастыре я не разговаривал по-русски. От этого мне было страшно. По-польски я знал всего несколько слов.

Я заблудился, попал в узкий проход между стенами. Он был вымощен треснувшими плитами. В трещинах цвел подорожник. К стенам были привинчены чугунные фонари. Их, должно быть, давно не зажигали — в одном фонаре я разглядел птичье гнездо.

Узкая калитка в стене была приоткрыта. Я заглянул в нее. Яблоневый сад, весь в солнечных пятнах, спускался по склону холма. Я осторожно вошел. Сад отцветал. Часто падали пожелтевшие лепестки. Жидкий, но мелодичный звон долетел с костельной колокольни.

Под старой яблоней сидела на траве молоденькая польская крестьянка и кормила грудью ребенка. Ребенок морщился и хрипел. Рядом с женщиной стоял бледный, опухший крестьянский парень в новой фетровой шляпе.

На шляпе была нашита синяя атласная лента, и за нее заткнуто павлинье перо. Парень смотрел себе под ноги круглыми глазами и не шевелился.

Низенький плешивый монах с садовыми ножницами в руке присел на пне против женщины. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Нех бендзи похвалёны Езус Христус!

— На веки векув! — ответил я так, как меня учила бабушка.

Сердце у меня остановилось от страха.

Монах отвернулся и снова стал слушать женщину. Пряди белых волос падали ей на лицо. Она отбрасывала их нежной рукой и жалобно говорила:

— Как сыночку пошел пятый месяц, Михась застрелил аиста. Он принес его в нашу халупку. Я заплакала и сказала: «Что ты наделал, глупец! Ты же знаешь, что за каждого убитого аиста Бог отнимает у людей по одному ребенку. Зачем же ты его застрелил, Михась?»

Парень в фетровой шляпе все так же безразлично рассматривал землю.

— И с того дня, — продолжала крестьянка, — сыночек наш посинел и болезнь начала его душить за горло. Поможет ему Божья Матка?

Монах уклончиво смотрел в сторону и ничего не ответил.

— Ох, тенскнота! — сказала женщина и начала царапать себя рукой по горлу. — Ох, тенскнота! — закричала она и прижала к груди ребенка.

Ребенок таращил глаза и хрипел.

Я вспомнил про игрушечных серебряных младенцев, которых показывал бабушке служка в монастырской гостинице. Мне было жаль эту

женщину. Я хотел сказать ей, чтобы она купила за двадцать рублей такого младенца и подвесила его к ченстоховской иконе. Но у меня не хватало польских слов, чтобы дать такой сложный совет. Кроме того, я боялся монаха-садовника. Я ушел из сада.

Когда я вернулся, бабушка еще спала. Я лег, не раздеваясь, на жесткую койку и тотчас уснул.

Бабушка меня разбудила среди ночи. Я умылся холодной водой в большом фаянсовом тазу. Я дрожал от возбуждения. За окнами проплывали ручные фонари, слышалось шарканье ног, перезванивали колокола.

— Сегодня, — сказала бабушка, — будет служить кардинал, папский нунций¹⁹.

С трудом мы добрались в темноте до костела.

— Держись за меня! — сказала бабушка в неосвященном притворе.

Мы ощупью вошли в костел. Я ничего не увидел. Не было ни одной свечи, никакого проблеска света среди душного мрака, скованного высокими костельными стенами и наполненного дыханием сотен людей. Кромешная эта темнота сладковато пахла цветами.

Я почувствовал под ногой стертый чугунный

¹⁹ *Нунций* — постоянный дипломатический представитель римского папы в иностранных государствах.

пол, сделал шаг и тотчас наткнулся на что-то.

— Стой спокойно! — сказала шепотом бабушка. — Люди лежат крестом на полу. Ты наступишь на них.

Она начала читать молитву, а я ждал, держась за ее локоть. Мне было страшно. Люди, лежавшие крестом на полу, тихо вздыхали. Печальный шелест разносился вокруг.

Внезапно в этом тяжелом мраке раздался, сотрясая стены, рыдающий гром органа. В ту же минуту вспыхнули сотни свечей. Я вскрикнул, ослепленный и испуганный.

Большая золотая завеса, закрывавшая икону Ченстоховской Божьей Матери, начала медленно раздвигаться. Шесть старых ксендзов в кружевном облачении стояли на коленях перед иконой спиной к толпе. Их руки были воздеты к небу. Только худой кардинал в пурпурной сутане с широким фиолетовым кушаком, стягивавшим его тонкую талию, стоял во весь рост — тоже спиной к молящимся, — как бы прислушиваясь к затихающей буре органа и всхлипыванью толпы.

Я еще никогда не видал такого театрального и непонятного зрелища.

После ночной службы мы прошли с бабушкой в длинный сводчатый коридор. Светало. Под стенами стояли на коленях молящиеся. Бабушка тоже опустилась на колени и заставила опуститься

и меня. Я боялся спросить ее, чего ждут эти люди с безумными глазами.

В конце коридора показался кардинал. Он шел легко и стремительно. Пурпурная его сутана развевалась и задевала молящихся по лицу. Они ловили край сутаны и целовали его страстно и униженно.

— Поцелуй сутану, — сказала мне бабушка быстрым шепотом.

Но я не послушался. Я побледнел от обиды и прямо посмотрел в лицо кардиналу. Должно быть, у меня были слезы на глазах. Он остановился, положил на мгновение сухую маленькую руку мне на голову и сказал по-польски:

— Слезы ребенка — лучшая молитва Господу.

Я смотрел на него. Острое его лицо было стянуто коричневой кожей. Как будто тусклое зарево освещало это лицо. Черные прищуренные глаза смотрели на меня выжидательно.

Я упрямо молчал.

Кардинал резко отвернулся и так же легко, подымая ветер, пошел дальше.

Бабушка схватила меня за руку так сильно, что я чуть не вскрикнул от боли, и вывела из коридора.

— Весь в отца! — сказала она, когда мы вышли во двор. — Весь в отца! Мать Божья Ченстоховская! Что же с тобой будет в жизни?

Розовые олеандры

На галерее в бабушкином доме в Черкассах стояли в зеленых кадках олеандры. Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море — далеком, теплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимой у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду, заросшем около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. Запах цветов проникал даже в дедушкин мезонин и вытеснял оттуда табачный перегар. Дедушка сердито хлопывал окна. Он говорил, что от этого запаха у него разыгрывается застарелая астма.

Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резеда была бедной девушкой в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее сказочное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец от злоупотребления чаем.

Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселые и лукавые цыганки в черных бархатных масках, пестрые танцовщицы — то синие, то лиловые, то желтые.

Маргаритки я не любил. Они напоминали

своими розовыми скучными платьицами девочек бабушкиного соседа, учителя Циммера. Девочки были безбровые и белобрысые. При каждой встрече они делали книксен, придерживая кисейные юбочки.

Самым интересным цветком был, конечно, портулак — ползучий, пылающий всеми чистыми красками. Вместо листьев у портулака торчали мягкие и сочные иглы. Стоило чуть нажать их, и в лицо брызгал зеленый сок.

Бабушкин сад и все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду и родилось мое пристрастие к путешествиям. В детстве я представлял себе далекую страну, куда непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тонули деревни и города. Когда скорые поезда пересекали эту равнину, на стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца.

Я рассказал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку «фантазер».

Понимала меня, пожалуй, одна тетя Надя, самая младшая из бабушкиных дочерей.

Ей было тогда двадцать три года. Она училась пению в Московской консерватории. У нее было

прекрасное контральтто.

Тетя Надя приезжала на Пасху и летом к бабушке в Черкассы. Сразу же в тихом просторном доме делалось шумно и тесно. Она играла с нами и носилась с хохотом по навощенным полам — стройная, тоненькая, с растрепанными белокурыми волосами и чуть приоткрытым свежим ртом.

В серых ее глазах сверкали всегда крупинки золота. Глаза эти смеялись в ответ на все: на любую шутку, веселое слово, даже в ответ на брезгливую морду кота Антона, недовольного нашим весельем.

— Для Нади все трын-трава! — говорила с легким осуждением мама.

Беспечность тети Нади вошла в нашей семье в поговорку. Она часто теряла перчатки, пудру, деньги, но никогда этим не огорчалась.

В день ее приезда мы подымали крышку рояля, и он стоял открытым до тех пор, пока тетя Надя не возвращалась в свою веселую и хлебосольную Москву.

Груды нот валялись на креслах. Дымили свечи. Рокотал рояль, и я иногда просыпался ночью от грудного и нежного голоса, певшего баркаролу:

Пльиви, моя гондола,
Озарена луной.
Раздайся баркарола
Над сонною волной.

А утром меня будило вкрадчивое пение, почти шепот, около самого уха и щекочущие мои щеки волосы тети Нади. «Вставай скорей, — пела она, — не стыдно ль спать, закрыв глаза, предавшись грезам? Давно малиновки звенят и для тебя раскрылись розы!»

Я открывал глаза, она целовала меня, тотчас исчезала, а через минуту я слышал, как она уже кружилась по залу в быстром вальсе со своим братом — юнкером дядей Колей. Он тоже иногда приезжал к бабушке на Пасху из Петербурга.

Я вскакивал, предчувствуя бурный, веселый неожиданный день.

Когда тетя Надя пела, даже дедушка открывал настежь дверь на лестницу из мезонина и говорил потом бабушке:

— Откуда только у Нади эта цыганская кровь?

Бабушка уверяла, что у Нади кровь не цыганская, а польская. Ссылаясь на литературные примеры и историю Речи Посполитой, она доказывала, что среди полек часто бывали такие неудержимо веселые, взбалмошные и беспечные женщины.

— Вот именно! — отвечал язвительно дедушка и плотно затворял за собой дверь. — Вот именно! — громко, повторял он за закрытой дверью, садясь набивать папиросы.

Однажды, я помню, была поздняя Пасха. В Черкассах уже зацвели сады. Мы приехали из Киева на пароходе. Потом из Москвы приехала тетя Надя.

Я любил Пасху, но боялся предпасхальных дней, потому что меня заставляли часами растирать миндальные зерна или взбивать ложкой белки. Я уставал от этого и даже втихомолку плакал.

Кроме того, перед Пасхой в бабушкином доме начинался беспорядок. Женщины в подоткнутых юбках мыли фикусы, рододендроны, окна и полы, выбивали ковры и мебель, чистили медные ручки на дверях и окнах. Нас вечно гоняли из комнаты в комнату.

После уборки происходило священнодействие — бабушка делала тесто для куличей, или, как их называли у нас в семье, для «атласных баб». Кадку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватными одеялами, и пока тесто не всходило, нельзя было бегать по комнатам, хлопать дверьми и громко разговаривать. Когда по улице проезжал извозчик, бабушка очень пугалась: от малейшего сотрясения тесто могло «сесть», и тогда прощай высокие ноздреватые куличи, пахнущие шафраном и покрытые сахарной глазурью!

Кроме куличей, бабушка пекла множество разных «мазурок» — сухих пирожных с изюмом и миндалем. Когда противни с горячими «мазурками» вынимали из печи, дом наполнялся такими

запахами, что даже дедушка начинал нервничать в своем мезонине. Он открывал дверь и заглядывал вниз, в гостиную, где был уже накрыт тяжелыми скатертями длинный мраморный стол.

В Страстную субботу в доме наконец воцарялись прохладная чистота и тишина. Утром нам давали по стакану жидкого чая с сухарями, и потом уже весь день до разговения после заутрени мы ничего не ели. Этот легкий голод нам нравился. День казался очень длинным, в голове чуть позванивало, а требование бабушки поменьше болтать настраивало нас на торжественный лад.

В полночь мы отправлялись к заутрене. Меня одевали в матросские длинные брюки, в матросскую курточку с золотыми пуговицами и больно причесывали щеткой волосы. Я смотрел на себя в зеркало, видел страшно взволнованного румяного мальчика и был очень доволен.

Из своих комнат выходила тетушка Евфросиния Григорьевна. Она одна не принимала участия в праздничных приготовлениях. Она всегда болела, редко разговаривала и только ласково улыбалась в ответ на нашу веселую болтовню.

Она выходила в глухом синем платье, с золотой цепочкой от часов на шее и красивым бантом, приколотым к плечу. Мама объяснила мне, что этот бант называется «шифром», что это награда за образцовое окончание института, где

тетушка Евфросиния Григорьевна училась.

Мама надевала свое праздничное серое платье, а отец — черный костюм с белым жилетом.

Потом появлялась бабушка — торжественная и красивая, вся в черном шелку, с искусственным цветком гелиотропа, приколотым к корсажу. Ее седые гладкие волосы были видны из-под кружевной наколки. Платье ее шуршало, и двигалась она легко, — бабушка молодела в эту ночь.

Она зажигала лампадки, после этого натягивала черные кружевные перчатки, и отец подавал ей мантилью с широкими завязками из лент.

— Вы, конечно, не пойдете к заутрене? — любезно, но холодно спрашивала его бабушка.

— Нет, Викентия Ивановна, — отвечал отец улыбаясь. — Я прилягу немного. Меня разбудят, когда вы вернетесь из церкви.

— Ох, — говорила бабушка и вздергивала плечами, поправляя мантилью. — У меня одна надежда, что Богу надоели ваши шутки и он махнул на вас рукой.

— Я тоже сильно рассчитываю на это, — учтиво отвечал отец.

Бабушка подымалась на минуту в мезонин попрощаться с дедом. Когда она спускалась от деда, в зал входила тетя Надя. Она всегда опаздывала.

Она не входила — она влетала, как тонкая сверкающая птица, в белом платье из легкого шелка с треном и буфами. Она тяжело дышала, и желтая роза трепетала у нее на груди.

Казалось, весь свет, вся радость мира сияли в ее потемневших глазах.

Бабушка останавливалась на лестнице и подносила платок к глазам. Она не могла сдержать слез при виде красоты своей младшей дочери. Каждый раз бабушка, очевидно, думала о судьбе тети Нади, о том, что будет с ней в суровой этой жизни, и мысли эти невольно заставляли бабушку прослезиться.

На этот раз, когда мы возвратились из церкви, отец не спал. Он открыл настежь окна из гостиной в сад. Было очень тепло.

Мы сели за стол разговляться. Ночь стояла рядом с нами. Звезды мерцали прямо в глаза. Из сада долетало попискивание бессонной птицы. Все говорили мало и прислушивались к то возникавшему, то затихавшему в темноте колокольному звону.

Тетя Надя сидела бледная, усталая. Я заметил, как отец передал ей в передней, когда помогал снять пелерину, синюю телеграмму.

Тетя Надя вспыхнула и скомкала телеграмму.

После разговения меня тотчас послали спать. Проснулся я поздно, когда в столовой звенели

чашки и взрослые уже пили кофе.

За обедом тетя Надя сказала, что получила телеграмму из соседнего городка Смелы от своей подруги Лизы Яворской. Лиза приглашает тетю Надю приехать погостить на один день к себе в усадьбу около Смелы.

— Я хочу поехать завтра, — сказала тетя Надя, взглянула на бабушку и добавила: — И возьму с собой Костика.

Я покраснел от счастья.

— Бог с тобой, — ответила бабушка, — поезжайте, но смотрите не простудитесь.

— Они вышлют за нами лошадей, — сказала тетя Надя.

От Черкасс до Смелы был час езды поездом. На станции в Смеле нас встретила Лиза Яворская, толстая и смешливая девица. В пароконном экипаже мы проехали через чистый и красивый городок. Под зелеными обрывами тихими омутами разлилась река Тясмин. Только посередине омутов серебрилось ее медленное течение. Было жарко. Над рекой летали стрекозы.

Когда мы въехали в пустынный парк за городом, Лиза Яворская сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я нахожусь там, где бывал он. В то время Пушкин казался мне существом легендарным. Его блестящая жизнь

должна была, конечно, проходить в стороне от этих украинских захолустий.

— Рядом Каменка ²⁰, бывшее имение Раевских, — сказала Лиза Яворская. — Он подолгу гостил у них и написал здесь чудные стихи.

— Какие? — спросила тетя Надя.

Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.²¹

Я не знал, что значит «хариты» и «Лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, столетние липы и небо, где плыли облака, — все это настроило меня на сказочный лад. Весь этот день

²⁰ *Каменка* — имение Давыдовых. Во время пребывания в ней А.С. Пушкина (конец 1820 — начало 1821 гг.) принадлежала декабристу Василию Львовичу Давыдову. Он был братом по матери генерала Николая Николаевича Раевского, с семьей которого Пушкин путешествовал по югу во время своей ссылки.

²¹ «*Играй, Адель...*» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Адели».

остался у меня в памяти как праздник тихой и пустынной весны.

Лиза Яворская остановила экипаж в широкой аллее. Мы вышли и пошли к дому по боковой дорожке среди густого шиповника.

Неожиданно из-за поворота дорожки вышел загорелый бородатый человек без шапки. Охотничья двустволка висела у него на плече. В руке он нес двух убитых уток. Куртка его была расстегнута. Виднелась крепкая коричневая шея.

Тетя Надя остановилась, и я заметил, как сильно она побледнела.

Загорелый человек сломал большую ветку шиповника с бутонами, исцарапал в кровь руки и подал эту ветку тете Наде. Она осторожно взяла колючий шиповник, протянула бородатому руку, и он поцеловал ее.

— У вас волосы пахнут порохом, — сказала тетя Надя. — И руки исцарапаны. Надо вынуть колючки.

— Пустое! — сказал он и улыбнулся.

У него были ровные зубы. Сейчас, вблизи, я увидел, что он совсем еще не старый человек.

Мы пошли к дому. Бородатый говорил очень странно, обо всем сразу — о том, что он приехал из Москвы два дня назад, что здесь чудесно, что послезавтра он должен везти свои картины на выставку в Венецию, что его околдовала цыганка

— натурщица художника Врубеля — и что он вообще человек пропащий и спасти его может только голос тети Нади.

Тетя Надя улыбалась. Я смотрел на него. Он очень мне нравился. Я догадался, что это был художник. От него действительно пахло порохом. Руки его были покрыты липкой сосновой смолой. Из черных утиных клювов изредка капала на дорожку яркая кровь.

В густых волосах у художника запуталась паутина, застряла хвоя и даже сухая веточка. Тетя Надя взяла его за локоть, остановила и вынула эту веточку.

— Неисправимый! — сказала она. — Совсем мальчишка, — добавила она и грустно улыбнулась.

— Вы поймите, — умоляющим голосом пробормотал он, — как это замечательно! Я продирался через молодой сосняк, изодрался вконец, но какой запах, какие сухие белые гвоздики, рыжая хвоя, какая паутина! Какая прелесть!

— Вот за это я вас и люблю, — тихо сказала тетя Надя.

Художник вдруг снял ружье с плеча и выстрелил из обоих стволов в воздух. Вырвалась струя синего порохового дыма. Залаяли и понеслись к нам собаки. Где-то вскрикнула и закудаhtала испуганная курица.

— Салют жизни! — сказал художник. —
Чертовски чудесно жить!

Мы подошли к дому, окруженные
взволнованными лающими собаками.

Дом был белый, с колоннами и полосатыми
шторами на окнах. К нам вышла маленькая
пожилая женщина в бледно-лиловом платье, с
лорнетом, вся в седых кудряшках — мать Лизы
Яворской. Она щурилась и долго, сжимая руки,
восхищалась красотой тети Нади.

В прохладных комнатах дул ветер, туго
натягивал шторы, сбрасывал со стола газеты
«Русское слово»²² и «Киевскую мысль». Всюду
бродили, принюхиваясь, собаки. Услышав
какие-нибудь подозрительные звуки из парка, они
сразу срывались и с громким лаем, налетая друг на
друга, мчались из комнат наружу.

Солнечные пятна бегали от ветра по
комнатам, перебирали всякие вещи — вазы, медные
колесики на ножках рояля, золотые рамы,
брошенную на столик соломенную шляпку тети
Нади и синие стволы ружья: его бородатый
положил на подоконник.

22 «Русское слово» — ежедневная газета
буржуазно-либерального направления. Выходила в
Петербурге с 1895 по 1917 г.

Мы пили в столовой густой кофе. Художник рассказывал мне, как он удил рыбу в Париже прямо с набережной против собора Богоматери. Тетя Надя смотрела на него и ласково усмехалась. А мать Лизы все повторяла:

— Ах, Саша! Когда же вы будете взрослым! Пора уже, наконец!

После кофе художник взял тетю Надю и меня за руки и повел в свою комнату. Там валялись кисти, раздавленные тюбики с краской и вообще царил беспорядок. Он начал торопливо собирать разбросанные рубахи, ботинки, куски холста, сунул все это под тахту, потом набил трубку маслянистым табаком из синей жестянки, закурил и велел, чтобы мы с тетей Надей сели на подоконник.

Мы сели. Солнце сильно грело нам спины. Художник подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст.

— Ну вот! — пробормотал он растерянным голосом. — Ни черта у меня не вышло.

На картине была изображена тетя Надя. Тогда я еще ничего не понимал в живописи. Я слышал споры отца с дядей Колей о Верещагине²³ и Врубеле. Но я не знал ни одной хорошей картины.

²³ *Верещагин* Василий Васильевич (1842–1904) — русский живописец, был близок передвижникам.

Те, что висели у бабушки, изображали угрюмые пейзажи со скучными деревьями и оленями у ручья или висящих вниз головой коричневых уток.

Когда художник открыл портрет, я невольно засмеялся от радости. Портрет был неотделим от сияющей весенней красоты тети Нади, от солнца, что лилось в старый парк золотыми водопадами, от ветра, сквозившего по комнатам, и зеленоватого отблеска листьев.

Тетя Надя долго смотрела на портрет, потом слегка взъерошила художнику волосы и быстро вышла из комнаты, не сказав ни слова.

— Ну, слава богу! — вздохнул художник. — Значит, можно везти этот холст на выставку в Венецию.

Днем мы катались на лодке по Тясмину. Тени от парка лежали на воде зеленой зубчатой стеной. В глубине были видны не успевшие еще дотянуться до поверхности воды круглые листики кувшинок.

Вечером перед отъездом тетя Надя пела в низком зале. Художник сопровождал ей и сбивался из-за того, что его пальцы, измазанные смолой, прилипали к клавишам.

Первые встречи, последние встречи,
Милого голоса звуки любимые...²⁴

А потом мы снова ехали в пароконном экипаже в Смелу. Художник с Лизой нас провожали. Лошади стучали копытами по твердой дороге. С реки несло сыростью, квакали лягушки. Высоко в небе горела звезда.

На станции Лиза повела меня в буфет купить мороженого, а тетя Надя и художник остались на скамейке в станционном палисаднике. Мороженого в буфете, конечно, не было, и, когда мы вернулись, тетя Надя и художник все так же сидели, задумавшись, на скамейке.

Вскоре тетя Надя уехала в Москву, и я ее больше не видел. На следующий год на Масленой она ездила на тройке в Петровский парк, пела на морозе, у нее началось воспаление легких, и перед самой Пасхой она умерла. На похороны ее ездили бабушка, мама и даже отец.

Я очень тосковал тогда. И до сих пор я не могу забыть тетю Надю. Она навсегда осталась для меня воплощением всей прелести девичества, сердечности и счастья.

Шарики из бузины

В коробке перекатывались белые мягкие шарики. Я бросал такой шарик в таз с водой. Шарик начинал набухать, потом раскрывался и превращался то в черного слона с красными глазами, то в оранжевого дракона или цветок розы с зелеными листьями.

Эти сказочные китайские шарики из бузины привез мне из Пекина мой дядя и крестный отец Иосиф Григорьевич, или попросту дядя Юзя.

— Авантюрист чистой воды! — говорил о нем мой отец, но не с осуждением, а даже с некоторой завистью.

Он завидовал дяде Юзе потому, что тот изъездил всю Африку, Азию и Европу, но совсем не как благонравный турист, а как завоеватель — с шумом, треском, дерзкими выходками и неистребимой жаждой заводить всякие невероятные дела в любом уголке земли: в Шанхае и Аддис-Абебе, в Харбине и Мешхеде.

Все эти дела кончались крахом.

— Мне бы дорваться до Клондайка, — говаривал дядя Юзя. — Я бы им показал, американцам!

Что именно собирался он показать клондайкским отпетым золотоискателям, оставалось неизвестным. Но было совершенно ясно,

что он действительно показал бы им что-нибудь такое, что слава о нем прогремела бы по всему Юкону и Аляске.

Может быть, он был рожден для того, чтобы сделаться знаменитым исследователем и путешественником, равным Николаю Пржевальскому или Ливингстону. Но жизнь в тогдашней России и в то время — его мой отец называл «безвременьем» — исковеркала дядю Юзю. Благородная страсть к путешествиям вылилась у него в беспорядочное и бесплодное скитальчество. Но дяде Юзе я все же обязан тем, что земля после его рассказов стала казаться мне смертельно интересной, и это ощущение я сохранил на всю жизнь.

Бабушка Викентия Ивановна считала дядю Юзю «божьим наказанием», белой вороной в нашей семье. Когда она сердилась на меня за шалости и непослушание, она говорила:

— Смотри, чтобы из тебя не вышел второй дядя Юзя!

Бедная бабушка! Она не подозревала, что жизнь этого дяди казалась мне совершенно великолепной. Я только и мечтал быть «вторым дядей Юзей».

Дядя Юзя всегда появлялся у нас в Киеве или у бабушки в Черкассах внезапно и так же внезапно исчезал, чтобы через год-полтора снова

оглушительно позвонить у дверей и наполнить квартиру хрипучим голосом, кашлем, клятвами и заразительным смехом. И каждый раз вслед за дядей Юзей извозчик втаскивал по полу тяжелые чемоданы со всякими редкостями.

Дядя Юзя был высокий бородатый человек с продавленным носом, с железными пальцами — ими он гнул серебряные рубли, — с подозрительно спокойными глазами, в глубине которых никогда не исчезало лукавство.

Он, как говорил отец, «не боялся ни Бога, ни черта, ни смерти», но жалко терялся и размякал от женских слез и детских капризов.

Первый раз я увидел его после англо-бурской войны²⁵.

Дядя Юзя пошел добровольцем к бурам. Этот поступок — героический и бескорыстный — сильно возвысил его в глазах родственников.

Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели буров, дравшихся за свою независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на

²⁵ *Англо-бурская война* — захватническая война 1899–1902 гг. Великобритании против бурских республик Южной Африки — Оранжевого Свободного государства и Трансвааля, которые в результате этой войны были превращены в английские колонии.

другом конце земли, — осаду Леди-Смита, сражение под Блумфонтейном и штурм горы Маюбы. Самыми популярными людьми были у нас бурские генералы Деветт, Жубер и Бота. Мы презирали надменного лорда Китченера и издевались над тем, что английские солдаты воюют в красных мундирах. Мы зачитывались книгой «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля».

Но не только мы — весь культурный мир с замиранием сердца следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Ваалем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой. Даже киевские шарманщики, игравшие до тех пор только «Разлуку», начали играть новую песню: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне»²⁶. За это мы отдавали им пятаки, припрятанные на мороженое.

Англо-бурская война была для мальчиков вроде меня крушением детской экзотики. Африка оказалась совсем не такой, какой мы воображали ее себе по романам из «Вокруг света» или по дому инженера Городецкого на Банковской улице в Киеве.

²⁶ «Трансваль, Трансваль, страна моя...» — популярная песня начала XX в., явившаяся откликом на англо-бурскую войну.

В стены этого серого дома, похожего на замок, были вмурованы скульптурные изображения носорогов, жирафов, львов, крокодилов, антилоп и прочих зверей, населявших Африку. Бетонные слоновые хоботы свисали над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Из пасти носорогов капала вода. Серые каменные удавы поднимали головы из темных ниш.

Владелец этого дома, инженер Городецкий, был страстным охотником. Он ездил охотиться в Африку. В память этих охот он разукрасил свой дом каменными фигурами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий чудак, но мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке.

Но сейчас, хотя мы и были мальчишками, мы понимали, что страдания и борьба за человеческое право вторглись на огромный черный материк, где до тех пор, по нашим понятиям, только трубили мудрые слоны, дышали миазмами тропические леса и бегемоты сопели в жирной тине великих неисследованных рек. До тех пор Африка существовала как земля путешественников, разных Стенли²⁷ и Ливингстонов²⁸.

²⁷ *Стенли* (Стэнли) Генри Мортон (наст. имя Генри Роулэндс; 1841–1904) — журналист, исследователь Африки.

²⁸ *Ливингстон* Давид (1813–1873) — английский

Мне, как и другим мальчикам, было жалко расставаться с той Африкой, где мы бродили в мечтах, — расставаться с охотой на львов, с рассветами в песках Сахары, плотами на Нигере, свистом стрел, неистовым гамом обезьян и мраком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах мокрой ядовитой травы, глядя воспаленными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест²⁹.

Сколько раз и я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что таинственная Африка не пройдена мной от Алжира до мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара!

Но все же это представление об Африке нельзя было целиком выбросить из памяти. Оно оказалось живучим. Поэтому трудно передать то ошеломление, тот немой восторг, которые я испытал, когда в нашей скучной квартире, в Киеве, появился бородатый, сожженный африканским

исследователь Африки.

²⁹ *Южный Крест* — созвездие Южного полушария, по форме напоминающее крест, по нему определяют направление на Южный полюс.

солнцем человек в широкополой бурской шляпе, в рубахе с открытой шеей, с патронташем на поясе — дядя Юзя.

Я ходил за ним следом, я смотрел ему в глаза. Мне не верилось, что вот эти глаза видели Оранжевую реку, зулусские ³⁰ краали ³¹, английских кавалеристов и бури Тихого океана.

В то время президент Трансвааля, старый и грузный Крюгер, приезжал в Россию просить о помощи бурам. Дядя Юзя приехал вместе с ним. Он пробыл в Киеве всего один день и уехал в Петербург вслед за Крюгером.

Дядя Юзя был уверен, что Россия поможет бурам. Но из Петербурга он написал отцу: «Высшие государственные соображения вынудили русское правительство сделать подлость — бурам мы помогать не будем. Значит, все кончено, и я опять уезжаю к себе на Дальний Восток».

Дед мой — отец моей матери — был человек небогатый. У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям — пятерым

³⁰ *Зулусы* — народ, основное население провинции Наталь в Южной Африке.

³¹ *Крааль* — кольцообразное поселение у некоторых народов Южной и Восточной Африки.

девочкам и трем сыновьям, если бы он не отдал всех сыновей в Киевский кадетский корпус. Обучение в корпусе было бесплатное.

Дядя Юзя учился со своими братьями в этом корпусе. Четыре года прошли благополучно, но на пятый год дядя Юзя был переведен из Киева в штрафной «каторжный» корпус в город Вольск, на Волге. В Вольск кадет ссылали за «тяжкие преступления». Дядя Юзя совершил такое преступление.

Кухня в Киевском корпусе помещалась в подвале. К одному из праздников в кухне напекли много сдобных булочек. Они остывали на длинном кухонном столе. Дядя Юзя достал шест, привязал к нему гвоздь, натаскал с помощью этого приспособления через открытое окно кухни несколько десятков румяных булочек и устроил пышный пир в своем классе.

В Вольске дядя Юзя пробыл два года. На третий год его исключили из корпуса и разжаловали в солдаты за то, что он ударил офицера: офицер остановил его на улице и грубо изругал за мелкий непорядок в одежде.

На дядю Юзю надели солдатскую шинель, дали ему винтовку и отправили пешим порядком из Вольска в город Кутно, около Варшавы, в артиллерийскую часть.

Он прошел зимой страну с востока на запад,

являясь к начальникам гарнизонов, выпрашивая по деревням хлеб, ночуя где попало.

Из Вольска он вышел вспыльчивым мальчиком, а в Кутно пришел озлобленным солдатом.

В Кутно он дослужился до первого офицерского чина. Его произвели в прапорщики.

На военной службе дяде Юзе не везло самым роковым образом. Из артиллерии его перевели в пехоту. Полк дяди Юзи был вызван в Москву нести охрану во время коронации Николая Второго. Рота дяди Юзи охраняла Кремлевскую набережную.

Ранним утром в день коронации дядя увидел, как его солдаты бросились к берегу реки и там началась жестокая свалка. Придерживая шашку, дядя побежал к солдатам.

Он увидел валявшееся в грязи на берегу страшное существо с медной головой, опутанной проводами. Существо это солдаты сбили с ног, навалились на него, а оно неуклюже отбрыкивалось от них огромными свинцовыми бутсами. Один из солдат зажал резиновую ребристую трубку около медной головы этого существа, и оно, захрипев, перестало сопротивляться. Дядя увидел, что это водолаз, крикнул на солдат, быстро отвинтил медный шлем, но водолаз был уже мертв.

Дядю и солдат не предупредили, что в это утро водолазы из Кронштадта осматривали дно

Москвы-реки, разыскивая адские машины.

После этого случая дядя Юзя был уволен из армии. Он уехал в Среднюю Азию и служил некоторое время начальником верблюжьих караванов, ходивших из Уральска в Хиву и Бухару. В то время Средняя Азия еще не была связана с Россией железной дорогой, все товары перегружались в Уральске на верблюдов и шли дальше караванным путем.

Во время этих караванных путешествий дядя Юзя сдружился с исследователями Средней Азии братьями Грум-Гржимайло³² и охотился с ними на тигров. Он прислал в подарок бабушке тигровую шкуру с таким свирепым выражением на морде убитого тигра, что бабушка тотчас спрятала эту шкуру в подвал, предварительно пересыпав ее нафталином.

Дядя Юзя любил рассказывать, как одним своим чихом он убивал на месте шакалов. На бивуаках в пустыне дядя ложился, подкладывал под голову сумку с продуктами и притворялся спящим. Шакалы подползали, поджав хвосты. Когда самый наглый из них начинал осторожно вытаскивать зубами сумку из-под дядиной головы, дядя

³² *Грум-Гржимайло* — советские ученые, братья: Владимир Ефимович (1864–1928) — металлург; Григорий Ефимович (1860–1936) — географ и зоолог.

оглушительно чихал, и трусливый шакал, даже не взвизгнув, тут же на месте умирал от разрыва сердца.

Мы верили этому, потому что хорошо знали, как чихал по утрам дядя Юзя, готовясь к новому дню. В ответ на этот чих звенели стекла в окнах, и кошка, обезумев, металась по комнате в поисках спасения.

Рассказы дяди Юзи были для нас интереснее походов барона Мюнхгаузена. Мюнхгаузена надо было себе представлять, а дядя Юзя был рядом — живой, тонущий в облаках табачного дыма, сотрясающий своим хохотом диван.

Потом в жизни дяди Юзи наступила неясная полоса. Он скитался по Европе, играл, говорят, в рулетку в Монте-Карло, очутился в Абиссинии и вернулся оттуда с огромным золотым орденом, пожалованным ему за что-то негусом Менеликом³³. Орден был похож на дворницкую бляху.

Дядя Юзя не находил себе места в жизни, пока взоры его не обратились на туманный Дальний Восток, на Маньчжурию и Уссурийский край. Эта страна как будто нарочно существовала для таких людей, как дядя. Там можно было жить широко,

³³ Менелик II (Мынилик; 1844–1913) — император (негус) Эфиопии.

шумно, не подчиняясь никаким «дурацким законам», — во всю силу необузданного характера и своей предприимчивости.

Это была русская Аляска — необжитая, богатая и опасная. Лучшего места на свете нельзя было и придумать для дяди Юзи. Амур, тайга, золото, Тихий океан, Корея, а дальше — Камчатка, Япония, Полинезия. Обширный неизученный мир шумел, как прибой, у берегов Дальнего Востока и тревожил воображение.

Дядя Юзя, захватив с собой молодую жену-подвижницу, — так как никто, кроме подвижницы, по мнению моей мамы, не мог быть женой такого ужасного человека, как дядя Юзя, — уехал на Дальний Восток.

Там он участвовал в обороне Харбина во время китайского восстания ³⁴, в стычках с хунхузами ³⁵, в постройке Восточно-Китайской

³⁴ ...во время китайского восстания. — Имеется в виду Ихэтуаньское антиимпериалистическое восстание в Северном Китае в 1899–1901 гг., известное под названием «боксерского».

³⁵ Хунхузы (от китайск. хунхуцзы — краснородый) — название участников вооруженных банд, действовавших в Маньчжурии с середины XIX в. до 1917 г.

железной дороги³⁶. Занятие это он прервал только для того, чтобы поехать в Трансвааль.

После англо-бурской войны он вернулся на Дальний Восток, но уже не в Маньчжурию, а в Порт-Артур. Там он работал агентом Добровольного флота³⁷. Дядя Юзя писал, что очень полюбил пароходное дело и жалеет, что в молодости не стал моряком.

К тому времени жена его умерла. На руках у дяди Юзи остались две девочки, его дочери. Он трогательно и неумело воспитывал их вместе со старым китайцем-служкой, которого называл Сам Пью-чай. Этого преданного ему китайца дядя Юзя любил, пожалуй, не меньше, чем своих дочерей. Вообще он очень любил китайцев и говорил, что это великолепный, добрый и мудрый народ и единственный его недостаток — это боязнь дождей.

³⁶ ...в постройке Восточно-Китайской железной дороги. — Китайско-Восточная ж. д. (КВЖД), ныне Китайско-Чаньчуньская ж. д. была построена Россией в 1897–1903 гг. по русско-китайскому договору 1869 г.

³⁷ Добровольный флот был основан в 1878 г. по подписке и состоял из океанских кораблей, осуществлявших рейсы между Одессой и Владивостоком, позднее также между Одессой и Петербургом.